неизвестных раньше рукописей; он любил классиков, как никто до него. Изучая их, он проникался восторженным поклонением Риму и воспевал его в своей "Африке". Свои думы и мысли он изложил в нескольких философских трактатах, написанных в манере древних. Он оставил целый ряд исторических, географических и антикварных сочинений, освещающих различные вопросы древности. Он положил начало исторической критике, доказавши подложность некоторых документов, в подлинности которых никто не сомневался. Он положил начало гуманистической философии, впервые указав на Платона как на философа, более достойного изучения, чем кумир средних веков Аристотель, и на этику как на дисциплину, более интересную, чем метафизика и диалектика. Он первый указал слабые стороны в средневековой науке. Наконец, он был первым журналистом. Письма, которые появляются часто, которые освещают с определенной точки зрения все сколько-нибудь важные события, — это, в сущности, уже та же печать, которой только недостает типографского станка.

Словом, во всех областях ученой литературы Петрарка был настоящим пионером. Он действительно отец гуманизма. По его сочинениям учились целые поколения ученых. Он был основателем современной образованности, которая так долго держалась на изучении античного. Но, ценя и изучая эту сторону его деятельности, не следует упускать из виду другую и забывать того человека с маленькой душой, который столь типичен для своего времени.

Петрарка вырос таким, потому что передовой человек Треченто должен был быть именно таким. Индивидуализм Возрождения создан городской жизнью, эволюцией буржуазии, и как раз характерно то, что вождь нового движения — в моральном отношении такая некрупная фигура. Гигант Данте на эту роль совершенно не годился. В нем нет ни юркости, ни умения приспособляться, ни искусства устраивать своей особе благодушное существование. А это — особенности всего итальянского Возрождения, за малыми исключениями. Освобождая свой дух от средневековых пут, люди прежде всего устремлялись на приятное, серьезное являлось потом. Но главная задача была ими все-таки достигнута, и Петрарке в этом отношении принадлежит большая заслуга.

VI

Боккаччо

В страстную субботу 11 апреля 1338 года в Неаполе в церкви Сан-Лоренцо стоял, прислонившись к мраморной колонне, двадцатипятилетний юноша; несколько полный для своего возраста, с оригинальным выразительным лицом, он был одет изящно и просто и необыкновенно внимательно вглядывался в даму,

стоявшую поодаль от него. Дама была вся в черном; под вуалью можно было разглядеть прекрасные черты лица, сквозь шелковую сетку выбивались золотистые кудри.

Юноша был Боккаччо. Дама — знатная неаполитанка Мария Аквино, про которую всякий знал, что она побочная дочь доброго короля Роберта. Она пленила Боккаччо уже в первую встречу в церкви Сан-Лоренцо. А когда она пришла туда на другой день — это была Пасха, — одетая в роскошное зеленое платье, блиставшее золотой отделкой и изукрашенное каменьями, Боккаччо потерял голову окончательно.

Молодой флорентиец попал в Неаполь по воле отца. Старик употреблял все усилия, чтобы приучить сына к практической деятельности, заставить его заинтересоваться торговлей или прикладной юриспруденцией, но юный Джованни засыпал над счетами и образцами актов и потихоньку читал Данте да латинских поэтов. Отец бился с ним, но в конце концов решил освободить его от торговли и засадить исключительно за занятия правом. Тут как раз ему пришлось ехать по делам в Неаполь. Он взял сына с собой, а потом оставил его там одного, надеясь, что в компании ученых он остепенится скорее. Компания ученых действительно увлекла юношу. Король Роберт сам питал интерес к наукам и был не прочь посочинительствовать, хотя и его увлечения, и его писания носили еще старомодный оттенок. Но он поощрял и науки, и поэзию, был дружен с Петраркой, приближал к себе талантливых людей. Боккаччо нашел в Неаполе обильную пищу своей любознательности и стал наверстывать пробелы своего образования. Правом и тут он почти не занимался, зато хорошо изучил латинских классиков. В столице короля Роберта гуманизм уже начинал приобретать почву. Увлечение им продолжалось там недолго и скоро прекратилось, но Боккаччо попал в хороший момент. До Неаполя дошла уже слава Петрарки, и король собирался предложить знаменитому поэту короновать его здесь поэтическим венцом. Классиков уже штудировали там добросовестно и могли во многом помочь любознательному юноше. Как и Петрарка, как и большинство других его современников, Боккаччо уже по-другому читает Вергилия и Овидия, по-другому воспринимает Цицерона. В нем уже установилось известное отношение к жизни, которое делает понятными и близкими древних писателей с их девизом "ничто человеческое мне не чуждо".

Боккаччо, по его собственному признанию, которое нетрудно вычитать в затянутых легким флером аллегории поэмах, всецело посвятил себя Палладе и сторонился Амура, но коварный стрелок все-таки поразил его. Боккаччо увлекался, его любили. Сначала то были мимолетные интриги, столь обычные под ярким синим небом Неаполя, под огнем южного солнца, но он встретил Марию, и его охватила настоящая страсть. В жизни Боккаччо-поэта эта страсть имела огромное значение. Для Марии или под влиянием любви к Марии написаны все ранние итальянские

произведения Боккаччо, и даже в "Декамероне" мы легко найдем отголоски этой любви, уже утихшей, но продолжающей оставаться сладостным воспоминанием. Под именем Фьямметты-Огонька Боккаччо воспел свою возлюбленную. Повинуясь желанию Фьямметты, он начал свою первую вещь — роман "Филоколо", ей он посвятил свою первую законченную в Неаполе поэму "Филострато". Любовь Марии была наградой счастливому поэту, любовь, тайная от всех, скрытая так тщательно, что и теперь многие отказываются ее признавать. Но она существовала, и Боккаччо наслаждался нечеловеческим счастьем. На груди Марии поэт подслушал тайны женского сердца и первый поведал их миру. Недолго длился рай Боккаччо. Его подруга не отличалась постоянством. Наступивший очень скоро разрыв не дал опошлиться чувству и навсегда сохранил за ним ореол поэзии. Долго-долго еще Боккаччо будет вспоминать свое счастье, будет перебирать свои ощущения. Страдания очистили его любовь; воспоминания о счастье не дали изгладиться чувству, Данте и древние помогли выделить из личного общечеловеческое. Любовь у Боккаччо сделалась орудием самосознания и средством борьбы за индивидуальность.

У Данте и в сонетах Петрарки фигурирует любовь не настоящая, а подчищенная и подстриженная согласно литературной моде. В латинских посланиях Петрарки мы уже видим человеческое чувство, которое сознается очень хорошо, но еще причиняет нравственные мучения, потому что расходится со старыми идеалами. Боккаччо окончательно провозгласил законность любви. Наиболее полно выражена его точка зрения в "Декамероне", который порывает и с аскетизмом, и с манерничанием трубадуров, и с платонизмом флорентийского dolce stil nuovo.

Полная противоположность аскетизму — введение к четвертому дню в "Декамероне". Юноша, воспитанный в лесу и до восемнадцатилетнего возраста не видавший женщины, в первый раз пришел с отцом во Флоренцию и встретил там веселую, разнаряженную гурьбу девушек. Он моментально охвачен новым чувством. "Что это?" — пристает он к отцу. "Опусти глаза и не гляди: это гадость", — поспешно отвечает недовольный старик. "А как эти штуки называются?" — не унимался юноша. "Гусята!" "Отец, а не прихватить ли нам с собой одного гусеночка; я его кормить буду". Это красноречивое констатирование могущества плоти, ее реабилитация. Но на этом Боккаччо не останавливается. Новелла о Настаджо дельи Онести (V, 8) формулирует дальнейшую ступень оправдания любви. Она берет сюжет одной чистилищной легенды, в которой описывалась загробная казнь женщины, изменившей мужу и потом убившей его. Боккаччо оставил все, но изменил мотив наказания. В легенде женщина казнится за то, что, одержимая страстью к любовнику, убила мужа, у Боккаччо — за то, что своей непреклонностью довела возлюбленного в нее рыцаря до самоубийства. При жизни дама не догадалась покаяться, ибо считала, что не только не про-

грешила, но и поступила как следует. За это она и осуждена на вечные муки. Жестокосердные равеннские красавицы, которым их догадливые поклонники показали это грозное видение, так напугались, что стали снисходить к желаниям мужчин гораздо охотнее.

Это уже не просто реабилитация плоти; это панегирик ее, призыв к любви, перевертывающий вверх дном все прежние взгляды на грех.

Новелла о прекрасной Алатиель (II, 7) дает завершение боккаччевской философии любви. Одна принцесса ехала к жениху, но, прежде чем попасть к нему, она, благодаря капризу судьбы, побывала в объятиях восьми других мужчин; жениху она этого не сообщила, и он навсегда остался в уверенности, что взял в жены невинную девушку. Новелла заканчивается назидательной поговоркой, вероятно, бывшей в ходу среди флорентийцев: Bocca basciata non perde ventura; anzi rinnuova come fa la luna, то есть уста от поцелуя не умаляются, а как месяц обновляются*. Культурно-исторический смысл новеллы тот, что платоническая точка зрения и клятвы в верности возлюбленных объявляются совершенно несостоятельными.

Словом, полная эмансипация чувства — один вывод "Декамерона".

Но там же мы встречаем и другую точку зрения на любовь. Она из полудикого, неотесанного Чимоне делает человека (VI, 1); она побуждает Федериго дельи Альбериги принести в жертву своей возлюбленной любимого сокола (V, 9); она дает силу Гризельде выдержать тяжелые лишения (X, 10); она нередко ведет к смерти. Таковы поправки к тем новеллам, в которых говорится о наслаждении как о конечной цели. Сопоставляя обе эти категории новелл, мы можем прийти только к одному выводу. Любовь — великая сила, она побеждает все, ничто перед ней не может устоять. Вот все, по-видимому, что хотел сказать Боккаччо, что он хотел внушить своим читателям. Призыва к наслаждению он не имел в виду. Возрождение дождется и такой философии, но не Боккаччо выскажет ее. "Декамерон" не строит теорий на эту тему. Он только запечатлевает в образах то, что носилось в то время в воздухе и давно уже ощущалось современниками. У него только собирается материал для теоретических построений. А когда Боккаччо сам начнет теоретизировать, его теория будет совершенно иная. Это будет философия "Корбаччо" и латинских сочинений.

Странную роль играет "Корбаччо" в истории Боккаччо. Поэт, которому было уже за сорок, влюбился в какую-то вдову, а та не только не отвечала на его ухаживания, но вместе с его счастливым соперником насмеялась над ним. "Корбаччо" был местью Боккаччо. Вдова не названа, но во Флоренции не осталось человека, который не понял бы, о ком идет речь. Женщину книжка

---

* Перевод акад. А. Н. Веселовского.

беспощадно смешала с грязью. Это было едва ли очень по-рыцарски, но для Боккаччо необыкновенно характерно. Стремительность и страстность, с которыми он обрушился на злополучную вдову, показывают, что тут дело не только в задетом самолюбии. Такому ловеласу, как Боккаччо, вероятно, не раз приходилось и раньше бывать в подобном же положении. Дело, вероятно, в том, что на этот раз внешний факт совпал с внутренним процессом, с пересмотром прежних увлечений; вот почему, быть может, в пасквиле на определенную женщину так много выходок против женщины вообще.

Уже в новеллах десятого дня "Декамерона" наблюдается некоторое несоответствие с господствующим тоном книги. Автора словно берет раздумье: стоило ли так много разговаривать о любви. Сонеты этого периода тоже что-то очень много толкуют о бесцельной жизни. Есть и другие факты того же порядка. Боккаччо, очевидно, пресытился, стал хворать и, как всегда бывает с людьми, утратившими равновесие физическое, начал рыться у себя в душе. Тут, как и у Петрарки, обнаружилось, что человек не окреп еще в отрицании средневековых элементов: в нем заговорила самая консервативная часть человеческого *я* — совесть. А совесть у большинства людей XIV века была еще совершенно средневековая. Средневековый характер и носит филиппика против женщины и любовных утех, которая зовется "Корбаччо".

Боккаччо поставил крест над прежними увлечениями, опрокинул алтарь Венеры и отдался серьезному — науке.

Классиками Боккаччо занимался с большой любовью с тех пор, как в ученом кружке короля Роберта он пополнил свои знания. Он не написал еще ни одной строки по-латыни, а влияние латинских писателей с необыкновенной яркостью сказывалось уже на его итальянских вещах. Дух Овидия, стиль Цицерона видны у него повсюду. В "Декамероне" горничная, которую дама подсылает к приглянувшемуся ей молодому человеку, передает амурные предложения языком римского трибуна, убеждающего граждан на Форуме (VII, 9), и сам Цицерон позавидовал бы красноречию, с каким Тебальдо дельи Элизеи громит монахов (III, 7). Любопытно, что и перелом в Боккаччо сказался тем, что его симпатии от дамского угодника Овидия перешли к женоненавистнику Ювеналу. Когда миновал первый острый внутренний кризис, бесповоротно унесший культ Фьямметты и любви, Боккаччо стал собирать бродившие в его голове мысли о других жизненных вопросах, которыми прежде не находил времени заниматься как следует — любовь мешала. Соответственно важности вопросов он выбрал и язык. Так возникли латинские стихи и латинская проза. Вдохновителем Боккаччо стал теперь Петрарка.

Дружба между холодным и влюбленным в себя Петраркой и простодушным, увлекающимся Боккаччо представляет большой интерес. На бескорыстную привязанность певец Лауры не был способен. Он только позволял любить себя, а сам холодно отвечал на искреннюю и глубокую дружбу словами, взятыми

напрокат в Цицероновом "Лелии". Но Боккаччо не замечал ни покровительственного отношения упоенного славой поэта, ни фальшивости его чувств. Он был совершенно увлечен Петраркой, который импонировал ему своей олимпийской ясностью, своим невозмутимым спокойствием, своей величественной фигурой; он прощал ему пренебрежение к "Декамерону" за латинский перевод "Гризельды", который был подачкой. Петрарка был для него учителем и руководителем и, несомненно, оказывал на его латинские писания большое влияние.

Как и Петрарка, Боккаччо придавал чрезмерно большое значение своим латинским трудам; они были ему дороги потому, что в них он ставил и разрешал все те вопросы, которые интересовали его поколение: о любви и добродетели, о славе и доблести, о судьбе человека и назначении поэта. Ответы Боккаччо по существу те же, что и ответы Петрарки. Им обоим диктовала общественная жизнь с ее усложнившимися запросами; сознательно или бессознательно они решали вопрос, чем должен быть человек, чтобы выйти победителем в жизненных осложнениях и столкновениях, которых было так много в современной действительности. Формы своих решений они брали у древних; оба должны были отстаивать свои новые чувства от цепких средневековых переживаний. Вывод их один и тот же: культ личности.

Словом, как моралист, Боккаччо говорит то же, что и Петрарка, что и Нелли, что и Заноби да Страда, что и вся братия гуманистов. Но ему, как гуманисту, принадлежит большая заслуга в том отношении, что он первый стал учиться греческому языку. Петрарка тоже пробовал поучиться у случайно подвернувшегося греческого монаха Варлаама, но неудачно: Гомер навсегда остался нем для него, а он — глух для Гомера. Но Петрарка помог Боккаччо раздобыть одного калабрийского грека, Леонтия Пилата, который оказал итальянскому гуманизму две крупные услуги: перевел "Илиаду" и выучил Боккаччо с грехом пополам понимать по-гречески. Боккаччо сделался, таким образом, первым эллинистом в Европе, хотя это ему стоило большого труда и хотя его познания в греческом языке были не Бог весть как велики. Учиться с Пилатом было настоящей мукой. Калабриец был до такой степени нечистоплотен и ворчлив, что терпеть его рядом с собой можно было только во имя любви к Гомеру и Платону. Петрарка говорил про него: "Этот Лев (Леонтий) — большая скотина". Но когда он бывал трезв, Гомер не терпел больших неприятностей, и хотя латинский язык, на который он переводил "Илиаду", оставлял желать многого, но гуманисты прощали ему все его неприятные особенности, а когда он погиб, убитый молнией, даже жалели о нем.

Для гуманистов, а в частности для Боккаччо, греческий язык не был простой роскошью.

Для обоснования своих морально-философских идей он нуждался в примерах и фактах, а латинская литература одна не могла ему их доставить. Поэтому в его латинских произведениях

так заметно стремление раздобыть ссылку на греческого писателя хотя бы из вторых и третьих рук. И он, ничтоже сумняшеся, ссылается на Варлаама и Леонтия Пилата как на лиц, свидетельствующих о факте. Поэтому арсенал данных, которыми Боккаччо подкрепляет свою индивидуалистическую доктрину, пожалуй, богаче, чем у Петрарки.

Индивидуалистическая тенденция у Боккаччо еще в одном пункте существенно отличается от той же тенденции у Петрарки. Петрарка умеет понимать человеческие стремления, умеет читать в душе, но он понимает только свои стремления и читает только в своей душе. У Боккаччо горизонты несравненно шире благодаря тому, что он беллетрист — качество, которым Петрарка не обладал совсем. Чужая душа для певца Лауры в буквальном смысле — потемки. Боккаччо нашел ключ к чужой душе. Правда, его наблюдения еще не приобрели той тонкости, которая привлекает в современных романистах-психологах, но то, что он дал нам, по существу, уже наметило пути психологического романа. Боккаччо изучает преимущественно женскую душу; он оставил потомству драгоценный перл, "Фьямметту", роман женщины любимой, а потом покинутой возлюбленным. И как мелкими алмазами этот перл осыпан кругом миниатюрными психологическими этюдами "Декамерона".

Наблюдательный художник помог Боккаччо расширить сферу изучения человека. Особенно "Декамерон" останется в этом отношении книгой, с которой по историческому значению сравнится немного других вещей в мировой литературе.

Элемент реалистического наблюдения жизни определяет и другую особенность "Декамерона". Всякий читавший его не как собрание веселых и скоромных анекдотов, а с тем вниманием, которого заслуживает это замечательное произведение, знает, что с особенной любовью Боккаччо рассказывает нам про монахов и попов, про их распутство, шарлатанство и другие непохвальные качества. Этих рассказов так много в "Декамероне", что легко можно прийти к заключению, что Боккаччо отрицает самый институт монашества. Но такой вывод совершенно не вязался бы со всем мировоззрением нашего поэта. Не забудем, что у него, как и у Петрарки, совесть еще средневековая и для нее церковь и религия сохраняют свой авторитет почти во всей первоначальной неприкосновенности. Не только религии, не только церкви, но и института монашества Боккаччо не решился бы отрицать, хотя он и видит, что от идеалов св. Бенедикта и св. Франциска остались одни воспоминания. Боккаччо — художник-бытописатель. Он рассказывает то, что видит, или психологически разрабатывает сюжеты, полученные в источниках. Другой вопрос, почему он так охотно занимается попами и монахами и заставляет Тебальдо дельи Элизеи обрушиться на них злой филиппикой. Просто потому, что он горожанин и отмечает несомненный факт, совершившийся уже в его время, — прекращение гармонического союза между монахами и буржуазией, со-

зданного св. Франциском и закрепленного основанием общины терциариев, мирян-монахов. Так же добросовестно он отмечает и всякий другой факт социального порядка, например то огромное значение, которое получила в его время торговля. По некоторым его новеллам (например, VIII, 1; VIII, 10) можно составить себе очень ясное представление о торговых обычаях того времени. Все это, конечно, не значит, что Боккаччо простой фотограф. У него есть положительные идеалы, которые направляют его наблюдения. Он интересуется человеком, требует ему свободы чувства, поощряет в нем героизм долга, но религии и церкви эта индивидуалистическая доктрина не касается.

Чем дальше приближалась старость, тем больше усиливались в нем тревоги совести. На этой почве в нем произошел однажды сильный кризис. Какой-то картезианский монах пригрозил ему вечным проклятием и муками ада, если он не бросит занятия поэзией, то есть, как истолковал этот оракул сам Боккаччо, греческих и римских классиков. Петрарке, который был рассудительнее своего друга, стоило немалого труда успокоить его.

Однако хотя острый страх миновал, но в Боккаччо до конца дней остались обостренная кризисом религиозность и какая-то почти болезненная нравственная щепетильность. Он водится с монахами так усердно, что флорентийцы подозревают у него намерение удалиться от мира. Когда он поехал в Венецию, желая повидаться с Петраркой, и не застал там ни его, ни его зятя, он не решился остановиться в доме его дочери: хотя он сед и обессилен тяжестью своего жира, но мало ли что скажет молва. Ему не хочется, чтобы даже тень подозрения коснулась дочери его друга.

Болезни, разумеется, играли некоторую роль в перемене его настроения и вообще много мешали ему. На склоне дней он удостоился великой чести: флорентийцы пригласили его занять кафедру, учрежденную для объяснения "Божественной Комедии". Но он мог читать свои лекции в церкви Сан-Стефано всего только несколько месяцев. Недуг разыгрался, и он должен был окончательно уехать в свое имение в Чертальдо. Там он и умер в 1375 году.

Боккаччо разрабатывал те же вопросы, что и Петрарка, но их положение в обществе было различно. Петрарка был всеми признанный вождь, Боккаччо — только популярный писатель и ученый.

Скромный и простодушный, он не кричал о себе, не рекламировал, не умел заискивать у сильных мира, не мог приобрести вполне обеспеченного досуга — словом, был обыкновенный человек. Петрарка блистал, но мы знаем, что то был за блеск и как он создавался. В этом отношении Боккаччо — несравненно более привлекательная фигура. Его историческая наследственность, его буржуазное происхождение сказались и в нем с необыкновенной яркостью, но не в такой неприятной форме, как у Петрарки.

Значение их в истории культуры одинаковое. Петрарка начал, но Боккаччо начинал независимо от него; их обоих создала волна

общественной жизни, и они разрабатывали вопросы, на которые общество хотело иметь готовые ответы. Вопросы им пришлось разрабатывать разные. Индивидуализм Петрарки субъективен, индивидуализм Боккаччо объективен. Они оба — крупные начинатели, и оба подвинули вперед самую настоятельную культурную проблему — освобождение личности. Но они далеко не решили ее окончательно. Эта миссия осталась дальнейшим поколениям.

VII

Флоренция

Когда умер Боккаччо (1375), были уже налицо признаки, показывавшие, что на ближайшее время центром литературы и искусства будет Флоренция. Это было ясно даже некоторым из современников, но и теперь нелегко сказать, почему культурное развитие Флоренции обогнало рост других итальянских городов-государств. Больше того, мы теперь склонны удивляться тому, как возможен был вообще культурный рост города, находившегося в таких условиях, какие в то время выпали на долю Флоренции. Бряцание оружия и военный клич — плохой аккомпанемент мирным занятиям, а прекрасный город на Арно весь XIV век и добрую половину XV века был театром внутренних усобиц и редко отдыхал от внешних войн. Мы не стали бы, быть может, удивляться, если бы нам так же хорошо были известны положительные элементы этого развития, как хорошо мы знаем отрицательные. К сожалению, именно о положительных элементах этого культурного процесса мы знаем меньше всего. Мы имеем здесь дело с проблемой происхождения коллективной гениальности и, чтобы удовлетворительно разрешить ее, должны были бы располагать гораздо более обильным запасом данных, чем те, которые предоставляют в наше распоряжение скудные средневековые источники. Можно только пытаться в общих чертах указать главные причины.

Если мы бросим взгляд на положение других городов Италии, то мы увидим, что ни один из них не находился в условиях, более благоприятствующих культурному развитию.

Неаполь при образованном и даровитом короле Роберте (1309—1343) некоторое время был центром умственной культуры Италии и притягивал отовсюду таланты и знания. Но после смерти Роберта начались кровавые междоусобия, у королевы Джованны таинственным образом умирали один за другим мужья, потом придушили ее самою, город не раз брали приступом, его постоянно грабили наемные отряды, ни один из видных людей не чувствовал себя в безопасности. В таких условиях науки и искусства не процветают. В Риме было не лучше: папа оставался в Авиньоне, в городе грызлись нобили и наемные отряды так же, как и в Неаполе, грабили жителей. В Милане железная десница Висконти давила все, и нужна была покладистость Пет-